

ФЕДОР
ДОСТОЕВСКИЙ



Записки
из Мертвого дома



МОСКВА
2023

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆



ФЕДОР
ДОСТОЕВСКИЙ



Записки
из Мертвого дома



МОСКВА

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Д70

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты работы
художника *Николая Ярошенко*

Д70 **Достоевский, Федор Михайлович.**
Записки из Мертвого дома / Федор Достоевский. — Мос-
ква : Эксмо, 2025. — 352 с. — (Всемирная литература (с кар-
тинкой)).

ISBN 978-5-04-122433-2

Ф. М. Достоевский — создатель «полифонического романа», по мнению М. М. Бахтина, — создал книгу очерков «Записки из Мертвого дома» под впечатлением от заключения в Омском остроге. Это глубокое произведение великого мыслителя, главной идеей которого стала Свобода как важнейшее условие человеческого существования. Это уникальный документ, включающий рассказы о судьбах настоящих заключенных, которых писатель встречал на каторжных работах; множество характерных выражений и поговорок, услышанных писателем от арестантов и солдат.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-122433-2

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2025

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВВЕДЕНИЕ

В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие города, с одной, много с двумя тысячами жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церквями — одной в городе, другой на кладбище, — города, похожие более на хорошее подмосковное село, чем на город. Они обыкновенно весьма достаточно снабжены исправниками, заседателями и всем остальным субалтерным чином. Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, по справедливости играющие роль сибирского дворянства, — или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в будущем. Из них умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешать загадку жизни, скоро наскучают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный термин службы, три года, и по исте-

чении его тотчас же хлопчут о своем переводе и возвращаются восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею. Они неправы: не только с служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натывается на охотника. Шампанского выпивается естественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сампятнадцать... Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться.

В одном из таких веселых и довольных собою городков, с самым милейшим населением, воспоминание о котором останется неизгладимым в моем сердце, встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльнокаторжным второго разряда, за убийство жены своей, и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К. поселенцем. Он собственно приписан был к одной подгородной волости; но жил в городе, имея возможность добывать в нем хоть какое-нибудь пропитание обучением детей. В сибирских городах часто встречаются учителя из ссыльных поселенцев; ими не брезгают. Учат же они преимущественно французскому языку, столь необходимому на попроще жизни и о котором без них в отдаленных краях Сибири не имели бы и понятия. В первый раз я встретил Александра Петровича в доме одного старинного, заслуженного и хлебосольного чиновника, Ивана Иваныча Гвоздиков, у которого было пять дочерей разных лет, подававших прекрасные надежды. Александр Петрович давал им уроки четыре раза в неделю, по тридцати копеек серебром за урок. Наружность его меня заинтересо-

ла. Это был чрезвычайно бледный и худой человек, еще нестарый, лет тридцати пяти, маленький и тщедушный. Одет был всегда весьма чисто, по-европейски. Если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, с строгой вежливостью выслушивал каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию разговора. Я тогда же расспросил о нем Ивана Ивановича и узнал, что Горянчиков живет безукоризненно и нравственно и что иначе Иван Иванович не пригласил бы его для дочерей своих, но что он страшный нелюдим, ото всех прячется, чрезвычайно учен, много читает, но говорит весьма мало и что вообще с ним довольно трудно разговариваться. Иные утверждали, что он положительно сумасшедший, хотя и находили, что в сущности это еще не такой важный недостаток, что многие из почетных членов города готовы всячески обласкать Александра Петровича, что он мог бы даже быть полезным, писать просьбы и проч. Полагали, что у него должна быть порядочная родня в России, может быть даже и не последние люди, но знали, что он с самой ссылки упорно пресек с ними всякие сношения, — одним словом, вредит себе. К тому же у нас все знали его историю, знали, что он убил жену свою еще в первый год своего супружества, убил из ревности и сам донес на себя (что весьма облегчило его наказание). На такие же преступления всегда смотрят как на несчастья и сожалеют о них. Но, несмотря на все это, чудак упорно сторонился от всех и являлся в людях только давать уроки.

Я сначала не обращал на него особенного внимания; но, сам не знаю почему, он мало-помалу начал интересоваться меня. В нем было что-то загадочное. Разговориться

не было с ним ни малейшей возможности. Конечно, на вопросы мои он всегда отвечал и даже с таким видом, как будто считал это своею первойшею обязанностью; но после его ответов я как-то тяготился его долгие спрашивать; да и на лице его после таких разговоров всегда виделось какое-то страдание и утомление. Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Иваныча. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону. Я даже удивился. С тех пор, встречаясь со мной, он смотрел на меня как будто с каким-то испугом. Но я не унылся; меня что-то тянуло к нему, и месяц спустя я ни с того ни с сего сам зашел к Горянчикову. Разумеется, я поступил глупо и неделикатно. Он квартировал на самом краю города, у старухи мещанки, у которой была больная в чахотке дочь, а у той незаконнорожденная дочь, ребенок лет десяти, хорошенькая и веселенькая девочка. Александр Петрович сидел с ней и учил ее читать в ту минуту, как я вошел к нему. Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-нибудь преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза. Мы, наконец, уселись; он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть не спрашивая: «Да скоро ли ты уйдешь отсюда?» Я заговорил с ним о нашем городке, о текущих новостях; он отмалчивался и злобно улыбался; оказалось, что он не только не знал самых обыкновенных, всем известных городских новостей, но даже не интересовался знать их. Заговорил я потом о нашем крае, о его потребностях; он слушал меня молча и до того странно смотрел мне в глаза, что

мне стало, наконец, совестно за наш разговор. Впрочем, я чуть не раздражил его новыми книгами и журналами; они были у меня в руках, только что с почты, я предлагал их ему еще не разрезанные. Он бросил на них жадный взгляд, но тотчас же переменял намерение и отклонил предложение, отзываясь недосугом. Наконец, я простился с ним и, выйдя от него, почувствовал, что с сердца моего спала какая-то несносная тяжесть. Мне было стыдно и показалось чрезвычайно глупым приставать к человеку, который именно поставляет своею главнейшею задачею — как можно подальше спрятаться от всего света. Но дело было сделано. Помню, что книг я у него почти совсем не заметил, и, стало быть, несправедливо говорили о нем, что он много читает. Однако же, проезжая раза два, очень поздно ночью, мимо его окон, я заметил в них свет. Что же делал он, просиживая до зари? Не писал ли он? А если так, что же именно?

Обстоятельства удалили меня из нашего городка месяца на три. Возвратясь домой уже зимою, я узнал, что Александр Петрович умер осенью, умер в уединении и даже ни разу не позвал к себе лекаря. В городке о нем уже почти позабыли. Квартира его стояла пустая. Я немедленно познакомился с хозяйкой покойника, намереваясь выведать у нее: чем особенно занимался ее жилец и не писал ли он чего-нибудь? За двугривенный она принесла мне целое лукошко бумаг, оставшихся после покойника. Старуха призналась, что две тетрадки она уж истратила. Это была угрюмая и молчаливая баба, от которой трудно было допытаться чего-нибудь путного. О жильце своем она не могла сказать мне ничего особенно нового. По ее словам, он почти никогда ничего не делал и по месяцам не раскрывал книги и не брал пера в руки; зато целые ночи прохаживал взад и вперед по комнате и все что-то думал, а иногда и говорил сам с собою; что он очень полюбил и очень ласкал ее внучку, Катю, особенно с тех пор, как узнал, что ее зовут Катей,

и что в Катеринин день каждый раз ходил по ком-то служить панихиду. Гостей не мог терпеть; со двора выходил только учить детей; косился даже на нее, старуху, когда она, раз в неделю, приходила хоть немножко прибраться в его комнате, и почти никогда не сказал с нею ни единого слова в целых три года. Я спросил Катю: помнит ли она своего учителя? Она посмотрела на меня молча, отвернулась к стенке и заплакала. Стало быть, мог же этот человек хоть кого-нибудь заставить любить себя.

Я унес его бумаги и целый день перебирал их. Три четверти этих бумаг были пустые, незначащие лоскутки или ученические упражнения с прописей. Но тут же была одна тетрадка, довольно объемистая, мелко исписанная и недоконченная, может быть заброшенная и забытая самим автором. Это было описание, хотя и бессвязное, десятилетней каторжной жизни, вынесенной Александром Петровичем. Местами это описание прерывалось какою-то другою повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями, набросанными неровно, судорожно, как будто по какому-то принуждению. Я несколько раз перечитывал эти отрывки и почти убедился, что они писаны в сумасшествии. Но каторжные записки — «Сценны из Мертвого дома», — как называет он их сам где-то в своей рукописи, показались мне не совсем безынтересными. Совершенно новый мир, до сих пор неведомый, странность иных фактов, некоторые особенные заметки о погибшем народе увлекли меня, и я прочел кое-что с любопытством. Разумеется, я могу ошибаться. На пробу выбираю сначала две-три главы; пусть судит публика...



I

МЕРТВЫЙ ДОМ

Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось, согласишь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть чего-нибудь? — и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу день и ночь расхаживают часовые, и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же пойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, вольного неба. Представьте себе большой двор, шагов в двести длины и шагов в полторасти ширины, весь обнесенный кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (паль), врытых стойком глубоко в землю, крепко прислоненных друг к другу ребрами, скрепленных поперечными планками и сверху заостренных: вот наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми; их отпирали по требованию, для выпуска на работу. За этими воротами был светлый, вольный мир, жили люди, как и все. Но по сю сторону ограды о том мире представляли себе, как о какой-то несбыточной сказке. Тут был свой

особый мир, ни на что более не похожий; тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо мертвый дом, жизнь — как нигде, и люди особенные. Вот этот-то особенный уголок я и принимаюсь описывать.

Как входите в ограду — видите внутри ее несколько зданий. По обеим сторонам широкого внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба. Это казармы. Здесь живут арестанты, размещенные по разрядам. Потом, в глубине ограды, еще такой же сруб: это кухня, разделенная на две артели; далее еще строение, где под одной крышей помещаются погреба, амбары, сараи. Средине двора пустая и составляет ровную, довольно большую площадку. Здесь строятся арестанты, происходит поверка и переключка утром, в полдень и вечером, иногда же и еще по нескольку раз в день, — судя по мнительности караульных и их уменью скоро считать. Кругом, между строениями и забором, остается еще довольно большое пространство. Здесь, по задачам строений, иные из заключенных, понелюдимее и помрачнее характером, любят ходить в нерабочее время, закрытые от всех глаз, и думать свою думушку. Встречаясь с ними во время этих прогулок, я любил всматриваться в их угрюмые, клейменные лица и угадывать, о чем они думают. Был один ссыльный, у которого любимым занятием в свободное время было считать пали. Их было тысячи полторы, и у него они были все на счету и на примете. Каждая паля означала у него день; каждый день он отсчитывал по одной пале и таким образом, по оставшемуся числу несосчитанных палей, мог наглядно видеть, сколько дней еще остается ему пробыть в остроге до срока работы. Он был искренно рад, когда доканчивал какую-нибудь сторону шестиугольника. Много лет приходилось еще ему дожидаться; но в остроге было время научиться терпению. Я видел раз, как прощался с товарищами один арестант, пробывший в каторге двадцать лет и, наконец,

выходивший на волю. Были люди, помнившие, как он вошел в острог первый раз, молодой, беззаботный, не думавший ни о своем преступлении, ни о своем наказании. Он выходил седым стариком, с лицом угрюмым и грустным. Молча обошел он все наши шесть казарм. Входя в каждую казарму, он молился на образа и потом низко, в пояс, откланивался товарищам, прося не поминать его лихом. Помню я тоже, как однажды одного арестанта, прежде зажиточного сибирского мужика, раз под вечер позвали к воротам. Полгода перед этим получил он известие, что бывшая его жена вышла замуж, и крепко запечалился. Теперь она сама подъехала к острогу, вызвала его и подала ему подаяние. Они поговорили минуты две, оба всплакнули и простились навеки. Я видел его лицо, когда он возвращался в казарму... Да, в этом месте можно было научиться терпению.

Когда смеркалось, нас всех вводили в казармы, где и запирали на всю ночь. Мне всегда было тяжело возвращаться со двора в нашу казарму. Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней десять лет. На нарах у меня было три доски: это было все мое место. На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате человек тридцать народу. Зимой запирали рано; часа четыре надо было ждать, пока все засыпали. А до того — шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменные лица, лоскутные платья, все — обруганное, ошельмованное... да, живуч человек! Человек есть существо, ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение.

Помещалось нас в остроге всего человек двести пятьдесят — цифра почти постоянная. Одни приходили, другие кончали сроки и уходили, третьи умирали. И какого народу тут не было! Я думаю, каждая губерния, каждая полоса России имела тут своих представителей. Были

и инородцы, было несколько ссыльных даже из кавказских горцев. Все это разделялось по степени преступлений, а следовательно, по числу лет, определенных за преступление. Надо полагать, что не было такого преступления, которое бы не имело здесь своего представителя. Главное основание всего острожного населения составляли ссыльнокаторжные разряда гражданского (*сильно* каторжные, как наивно произносили сами арестанты). Это были преступники, совершенно лишенные всяких прав состояния, отрезанные ломти от общества, с проклейменным лицом для вечного свидетельства об их отвержении. Они присылались в работу на сроки от восьми до двенадцати лет и потом рассылались куда-нибудь по сибирским волостям в поселенцы. Были преступники и военного разряда, не лишенные прав состояния, как вообще в русских военных арестантских ротах. Присылались они на короткие сроки; по окончании же их поворачивались туда же, откуда пришли, в солдаты, в сибирские линейные батальоны. Многие из них почти тотчас же возвращались обратно в острог за вторичные важные преступления, но уже не на короткие сроки, а на двадцать лет. Этот разряд назывался «всегдашним». Но «всегдашние» все еще не совершенно лишались всех прав состояния. Наконец, был еще один особый разряд самых страшных преступников, преимущественно военных, довольно многочисленный. Назывался он «особым отделением». Со всей Руси присылались сюда преступники. Они сами считали себя вечными и срока работ своих не знали. По закону им должно было удвоить и утроить рабочие уроки. Содержались они при остроге впредь до открытия в Сибири самых тяжелых каторжных работ. «Вам на срок, а нам вдоль по каторге», — говорили они другим заключенным. Я слышал потом, что разряд этот уничтожен. Кроме того, уничтожен при нашей крепости и гражданский порядок, а заведена одна общая военно-арестантская рота. Разумеется, с этим вместе перемени-

лось и начальство. Я описываю, стало быть, старину, дела давно минувшие и прошедшие...

Давно уж это было; всё это снится мне теперь, как во сне. Помню, как я вошел в острог. Это было вечером, в декабре месяце. Уже смеркалось; народ возвращался с работы; готовились к поверке. Усатый унтер-офицер отворил мне, наконец, двери в этот странный дом, в котором я должен был пробыть столько лет, вынести столько таких ощущений, о которых, не испытав их на самом деле, я бы не мог иметь даже приблизительного понятия. Например, я бы никак не мог представить себе: что страшного и мучительного в том, что я во все десять лет моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду один? На работе всегда под конвоем, дома с двумястами товарищей и ни разу, ни разу — один! Впрочем, к этому ли еще мне надо было привыкать!

Были здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманы разбойников. Были просто мазурики и бродяги-промышленники по находным деньгам или по столовской части. Были и такие, про которых трудно было решить: за что бы, кажется, они могли прийти сюда? А между тем у всякого была своя повесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля. Вообще о былом своем они говорили мало, не любили рассказывать и, видимо, старались не думать о прошедшем. Я знал из них даже убийц до того веселых, до того никогда не задумывающихся, что можно было биться об заклад, что никогда совесть не сказала им никакого упрека. Но были и мрачные лица, почти всегда молчаливые. Вообще жизнь свою редко кто рассказывал, да и любопытство было не в моде, как-то не в обычае, не принято. Так разве, изредка разговорится кто-нибудь от безделья, а другой хладнокровно и мрачно слушает. Никто здесь никого не мог удивить. «Мы — народ грамотный!» — говорили они часто с каким-то странным самодовольствием. Помню, как однажды один разбойник,

хмельной (в каторге иногда можно было напиться), начал рассказывать, как он зарезал пятилетнего мальчика, как он обманул его сначала игрушкой, завел куда-то в пустой сарай, да там и зарезал. Вся казарма, доселе смеявшаяся его шуткам, закричала, как один человек, и разбойник принужден был замолчать; не от негодования закричала казарма, а так, потому что *не надо было про это* говорить; потому что говорить *про это* не принято. Замечу кстати, что этот народ был действительно грамотный и даже не в переносном, а в буквальном смысле. Наверно, более половины из них умело читать и писать. В каком другом месте, где русский народ собирается в больших массах, отделите вы от него кучу в двести пятьдесят человек, из которых половина была бы грамотных? Слышал я потом, кто-то стал выводить из подобных же данных, что грамотность губит народ. Это ошибка: тут совсем другие причины; хотя и нельзя не согласиться, что грамотность развивает в народе самонадеянность. Но ведь это вовсе не недостаток. Различались все разряды по платью: у одних половина куртки была темно-бурая, а другая серая, равно и на панталонах — одна нога серая, а другая темно-бурая. Один раз, на работе, девчонка-калашница, подошедшая к арестантам, долго всматривалась в меня и потом вдруг захохотала. «Фу, как не славно! — закричала она, — и серого сукна не достало, и черного сукна не достало!» Были и такие, у которых вся куртка была одного серого сукна, но только рукава были темно-бурые. Голова тоже брилась по-разному: у одних половина головы была выбрита вдоль черепа, у других поперек. С первого взгляда можно было заметить некоторую резкую общность во всем этом странном семействе; даже самые резкие, самые оригинальные личности, царившие над другими невольно, и те старались попасть в общий тон всего острога. Вообще же скажу, что весь этот народ, за некоторыми немногими исключениями неистошимо-веселых людей, пользовавшихся за это всеобщим презрением, — был народ угрю-

мый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист. Способность ничему не удивляться была величайшею добродетелью. Все были помешаны на том, как наружно держать себя. Но нередко самый заносчивый вид с быстротою молнии сменялся на самый малодушный. Было несколько истинно сильных людей; те были просты и не кривлялись. Но странное дело: из этих настоящих, сильных людей было несколько тщеславных до последней крайности, почти до болезни. Вообще тщеславие, наружность были на первом плане. Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были непрерывные: это был ад, тьма кромешная. Но против внутренних уставов и принятых обычаев острога никто не смел восставать; все подчинялись. Бывали характеры резко выдающиеся, трудно, с усилием подчинявшиеся, но все-таки подчинявшиеся. Приходили в острог такие, которые уж слишком зарвались, слишком выскочили из мерки на воле, так что уж и преступления свои делали под конец как будто не сами собой, как будто сами не зная зачем, как будто в бреду, в чаду; часто из тщеславия, возбужденного в высочайшей степени. Но у нас их тотчас осаживали, несмотря на то, что иные, до прибытия в острог, бывали ужасом целых селений и городов. Оглядываясь кругом, новичок скоро замечал, что он не туда попал, что здесь дивить уже некого, и неприметно смирялся, и попадал в общий тон. Этот общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного, собственного достоинства, которым был проникнут чуть не каждый обитатель острога. Точно в самом деле звание каторжного, решеного, составляло какой-нибудь чин, да еще и почетный. Ни признаков стыда и раскаяния! Впрочем, было и какое-то наружное смирение, так сказать официальное, какое-то спокойное резонерство: «Мы погибший народ, — говорили они, — не умел на воле жить, теперь ломай зеленую улицу, поверяй ряды». — «Не слушался отца и матери, послушайся

теперь барабанной шкуры». — «Не хотел шить золотом, теперь бей камни молотом». Всё это говорилось часто, и в виде нравоучения, и в виде обыкновенных поговорок и присловий, но никогда серьезно. Все это были только слова. Вряд ли хоть один из них сознавался внутренне в своей незаконности. Попробуй кто не из каторжных упрекнуть арестанта его преступлением, выбрать его (хотя, впрочем, не в русском духе попрекать преступника) — ругательством не будет конца. А какие были они все мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство возведено было у них в науку; старались взять не столько обидным словом, сколько обидным смыслом, духом, идеей — а это утонченнее, ядовитее. Бесперывные ссоры еще более развивали между ними эту науку. Весь этот народ работал из-под палки, следовательно он был праздный, следовательно развращался: если и не был прежде развращен, то в каторге развращался. Все они собрались сюда не своей волей; все они были друг другу чужие.

«Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу!» — говорили они про себя сами; а потому сплетни, интриги, бабы наговоры, зависть, свара, злость были всегда на первом плане в этой кромешной жизни. Никакая баба не в состоянии была быть такой бабой, как некоторые из этих душегубцев. Повторяю, были и между ними люди сильные, характеры, привыкшие всю жизнь свою ломить и повелевать, закаленные, бесстрашные. Этих как-то невольно уважали; они же, с своей стороны, хотя часто и очень ревнивы были к своей славе, но вообще старались не быть другим в тягость, в пустые ругательства не вступали, вели себя с необыкновенным достоинством, были рассудительны и почти всегда послушны начальству — не из принципа послушания, не из сознания обязанностей, а так, как будто по какому-то контракту, сознав взаимные выгоды. Впрочем, с ними и поступали осторожно. Я помню, как одного из таких

арестантов, человека бесстрашного и решительного, известного начальству своими зверскими наклонностями, за какое-то преступление позвали раз к наказанию. День был летний, пора нерабочая. Штаб-офицер, ближайший и непосредственный начальник острога, приехал сам в кордегарию, которая была у самых наших ворот, присутствовать при наказании. Этот майор был какое-то фатальное существо для арестантов, он довел их до того, что они его трепетали. Был он до безумия строг, «бросался на людей», как говорили каторжные. Всего более страшились они в нем его пронизательного, рысего взгляда, от которого нельзя было ничего утаить. Он видел как-то не глядя. Входя в острог, он уже знал, что делается на другом конце его. Арестанты звали его восьмиглазым. Его система была ложная. Он только озлоблял уже озлобленных людей своими бешеными, злыми поступками, и если б не было над ним коменданта, человека благородного и рассудительного, умерявшего иногда его дикие выходки, то он бы наделал больших бед своим управлением. Не понимаю, как мог он кончить благополучно; он вышел в отставку жив и здоров, хотя, впрочем, и был отдан под суд.

Арестант побледнел, когда его кликнули. Обыкновенно он молча и решительно ложился под розги, молча терпел наказание и вставал после наказания, как встрепанный, хладнокровно и философски смотря на приключившуюся неудачу. С ним, впрочем, поступали всегда осторожно. Но на этот раз он считал себя почему-то правым. Он побледнел и, тихонько от конвоя, успел сунуть в рукав острый английский сапожный нож. Ножи и всякие острые инструменты страшно запрещались в остроге. Обыски были частые, неожиданные и нещучные, наказания жестокие; но так как трудно отыскать у вора, когда тот решился что-нибудь особенно спрятать, и так как ножи и инструменты были всегдашней необходимостью в остроге, то, несмотря на обыски, они не переводились.